

Н.А. Заболоцкий

## История моего заключения

### 1

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 г. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в союз по срочному делу. В его кабинете сидели два не известных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко.

Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привезли в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном проспекте. Обыскали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос.

Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышались брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся главным образом в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожают!

— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по советской конституции.

— Действие конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь.

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более

переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался, и мы сидели молча. Следовательно что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. Олейникове, Т. Табидзе, Д. Хармсе и А. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 г. Зачитывались «изобличающие» меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удастся сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар — в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки, и мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то не известные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втоптали меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и, пользуясь ею как пикой, оборонялся насколько мог и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напором ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и после долгих усилий вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности — настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливают камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал

в отчаянии и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем, как сквозь сон, помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель: сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаяния, я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но втолкнули в одну из больших камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12–15, комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70–80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние неслись из нее в коридор, и я помню, как они поразили меня. Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Медведева и Д. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

## 2

Большинство свободных людей отличаются от несвободных общими характерными для них признаками. Они достаточно уверены в себе, в той или иной мере обладают чувством собственного достоинства, спокойно и разумно реагируют на внешние раздражения... В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, напуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попадал, чаще всего терял

особенности, присущие ему на свободе. Как пойманный в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза. Через несколько дней тюремной обработки черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведенная на него, начинала пускать свои корни в его смятенную и дрожащую душу.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растления людей только лишь начинался. Здесь можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного истерического веселья и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздем и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий свое человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были совсем маленькими, скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду, только не в том смысле, как этого хотело начальство.

Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать, — плакал при всех, и чувство естественного стыда удесятерило его муки. Тот, кто хотел покончить с собою, — ночью, под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его. Эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогла многим перенести их невыносимые мучения.

Камера, куда я попал, была подобна огромному, вечно жужжавшему муравейнику, где люди целый день топтались друг подле друга, дышали чужими испарениями, ходили, перешагивая через лежащие тела, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Уголовники здесь были смешаны с политическими, но в 1937–1938 гг. политических было в десять раз больше, чем уголовных, и потому в тюрьме уголовники держались робко и неуверенно. Они были нашими владыками в лагерях, в тюрьме же были едва заметны. Во главе камеры стоял выборный староста по фамилии Гетман. От него зависел распорядок нашей жизни. Он сообразно тюремному стажу распределял места — где кому спать и сидеть, он распределял довольствие и наблюдал за порядком. Большая слаженность и дисциплина требовались для того, чтобы всем устроиться на ночь. Места было столько, что люди могли лечь только на бок, вплотную прижавшись друг к другу, да и то не все враз, но в две очереди. Устройство на ночь происходило по команде старосты, и это было удивительное зрелище соразмерных, точно рассчитанных движений и перемещений, выработанных многими «поколениями» заключенных, принужденных жить в одной тесно спрессованной толпе и постепенно передающих новичкам свои навыки.

Днем камера жила вялой и скучной жизнью. Каждое пустяковое житейское дело: пришить пуговицу, починить разорванное платье, сходить в уборную — вырастало здесь в целую проблему. Так, для того чтобы сходить в уборную, нужно было отстоять в очереди не менее чем полчаса. Оживление в дневной распорядок вносили только завтрак, обед и ужин. В ДПЗ кормили сносно, заключенные не голодали. Другим развлечением были

обыски. Обыски устраивались регулярно и носили униженный характер. Цели своей они достигали только отчасти, так как любой заключенный знает десятки способов, как уберечь свою иголку, огрызок карандаша или самое большое свое сокровище — перочинный ножичек или лезвие от самобрейки. На допросы в течение дня заключенных почти не вызывали.

Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенки на Литейном проспекте озарялся сотнями огней и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душевраздирающими воплями избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробежал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишное, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени.

От времени до времени брали на допрос того или другого заключенного. Процесс вызова был такой.

— Иванов! — кричал, подходя к решетке двери, тюремный служащий.

— Василий Петрович! — должен был ответить заключенный, называя свое имя-отчество.

— К следователю!

Заключенного выводили из камеры, обыскивали и вели коридорами в здание НКВД. На всех коридорах были устроены деревянные, наглухо закрывающиеся будки, нечто вроде шкафов или телефонных будок. Во избежание встреч с другими арестованными, которые показывались в конце коридора, заключенного обычно вталкивали в одну из таких будок, где он должен был ждать, покуда встречного уведут дальше.

По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации, и они падали на наши руки; других же почти вносили, и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая холодные компрессы и отпаивая их водой. Впрочем, нередко бывало и так, что тюремщик приходил лишь за вещами заключенного, а сам заключенный, вызванный на допрос, в камеру уже не возвращался.

Издешательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть, попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Дав. Ис. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды по дороге на допрос меня по ошибке втолкнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в черном платье ударила следователя по лицу и тот схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать ее сапогами. Меня тотчас же выволокли из камеры, и я слышал за спиной ее ужасные вопли.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесчеловечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газету, а он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою правоту. Тень догадки мелькала в головах наиболее здравомыслящих людей, а иные, очевидно, были недалеко от истинного понимания дела, но все они, затравленные и терроризированные, не имели смелости поделиться мыслями друг с другом, так как не без основания полагали, что в камере снуют соглядатаи и тайные осведомители, вольные и невольные. В моей голове созрела



странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами, — мы, советские люди, воспитанные в духе преданности делу социализма? Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь наконец показала мне, в чем мы были правы и в чем заблуждались...

После возвращения из больницы меня оставили в покое и долгое время к следователю не вызывали. Когда же допросы возобновились, — а их было еще несколько, — никто меня больше не бил, дело ограничивалось обычными угрозами и бранью. Я стоял на своем, следствие топталось на месте. Наконец в августе месяце я был вызван «с вещами» и переведен в «Кресты».

Я помню этот жаркий день, когда, одетый в драповое пальто, со свертком белья под мышкой, я был приведен в маленькую камеру «Крестов», рассчитанную на двух заключенных. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счету. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в «Крестах».

В камере стояла одна железная койка, и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребенок.

В «Крестах» меня на допросы не водили: следствие было, очевидно, закончено. Сразу и резко ухудшилось питание, и, если бы мы не имели права прикупать продукты на собственные деньги, мы сидели бы полуголодом.

В начале октября мне было объявлено под расписку, что я приговорен Особым совещанием (т. е. без суда) к пяти годам лагерей «за троцкистскую контрреволюционную деятельность». 5 октября я сообщил об этом жене, и мне было разрешено свидание с нею: предполагалась скорая отправка на этап.

Свидание состоялось в конце месяца. Жена держалась благоразумно, хотя ее с маленькими детьми уже высылали из города и моя участь была ей известна. Я получил от нее мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли еще когда-нибудь... Этап тронулся 8 ноября, на другой день после отъезда моей семьи из Ленинграда. Везли нас в теплушках, под сильной охраной, и дня через два мы оказались в Свердловской пересыльной тюрьме, где просидели около месяца. С 5 декабря, дня советской конституции, начался наш великий сибирский этап — целая одиссея фантастических переживаний, о которой следует рассказать поподробнее. Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там на крышах и площадках торчали пулеметы, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег, завертывали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседавая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

— Шаг в сторону — открываю огонь! — было обычное предупреждение.

Впрочем, за весь двухмесячный путь из вагона мы выходили только в Новосибирске, Иркутске и Чите. Нечего и говорить, что посторонних людей к нам не подпускали и за версту.

Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая — вверху, на высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жестоко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день — кипяток и обед из жидкой баланды и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек выдавался нерегулярно и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водой. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая Новый, 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, выросшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

В том же вагоне я впервые столкнулся с миром уголовников, которые стали проклятием для нас, осужденных влачить свое существование рядом с ними, а зачастую и под их началом.

Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков — народ особый, представляющий собой общественную категорию, сложившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по своим собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. У них были свои вожаки, одно слово которых могло стоять жизни любому рядовому члену их касты. Все они были связаны между собой общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики. Исконные жители тюрем и лагерей, они искренно и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пеструю, сбитую с толку толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и надлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства.

Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развились по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития. Во имя своей морали почти все они были способны на необычайные, порой героические поступки; они без страха шли на смерть, ибо презрение товарищей было для них во сто раз страшнее любой смерти. Правда, в мое время наиболее крупные вожаки уголовного мира были уже уничтожены. О них ходили лишь легенды, и все уголовное население лагерей видело в этих легендах свой идеал и стара-

лось жить по заветам своих героев. Крупных вожаков уже не было, но идеология их была жива и невредима.

Как-то само собой наш вагон распался на две части: 58-я статья поселилась на одних нарах, уголовники — на других. Обреченные на сосуществование, мы с затаенной враждой смотрели друг на друга, и лишь по временам эта вражда прорывалась наружу. Вспыхивали яростные ссоры, готовые всякую минуту перейти в побоище. Помню, как однажды, без всякого повода с моей стороны, замахнулся на меня поленом один из наших уголовников, подверженный припадкам и каким-то молниеносным истерикам. Товарищи удержали его, и я остался невредимым. Однако атмосфера особой психической напряженности не проходила ни на миг и накладывала свой отпечаток на нашу вагонную жизнь.

От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счет. Как сейчас вижу эту картину: черные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползем друг за другом на четвереньках по доске, освещаемые тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведенными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудреной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. О мытье нечего было и думать. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было.

Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под потолком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...

В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу, по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМа встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре.

<1956>